

АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ: «МНЕ ХОЧЕТСЯ НАПИСАТЬ КНИГУ, ПОСВЯЩЕННУЮ СУПАМ»



АНТОН СЕНИСОВ

Родился в Москве, окончил Московский государственный университет печати имени Ивана Федорова. Литератор, редактор, автор книг «Зоны отдыха», «Комната Вагинова», «Бог тревоги». Публиковался в литературных журналах «Октябрь», «Новый мир», «Дружба народов» и других.



АЛЕКСЕЙ КОНАКОВ

Алексей Конаков известен как исследователь позднесоветской культуры, автор книг «Вторая внезаходимая: очерки неофициальной литературы СССР», «Убывающий мир: история “невероятного” в позднем СССР» и других. Недавно у Алексея вышел роман «Табия тридцать два», в котором он изображает Россию будущего. В этой России отменена русская литература, и ее заменили шахматы. Вместо стихов Пушкина и Лермонтова школьники учат партии Карпова, Спасского и Ботвинника. Сам Конаков называет этот роман «филологическим экспериментом, рдящимся в одежды полудетективного и полуфантастического романа». Мы поговорили с писателем и исследователем об этой книге, новых литературных формах, любимых конспирологических теориях и многом другом.

– Прочитал ваш роман «Табия тридцать два» с большим удовольствием, но был слегка удивлен формой. От вас, исследователя советской неофициальной литературы и соучредителя премии Леона Богданова, логично было ожидать «странного» «авангардного» текста, чего-то в стиле предыдущей книги, «Дневник погоды». А получился, если позволите, конвенциональный роман: с понятным сюжетом, любовной и детективной интригой. Замечательный текст, подчеркну. Но как это получилось? Был ли это намеренный эксперимент, стояло ли за этим осознанное стремление зайти на новую территорию или это вышло само собой? Расскажите, пожалуйста, как возник замысел книги.

– Наверное, нужно начать с того, что «Табия тридцать два» рождена событиями 2022 года – многочисленными дискуссиями о виновности русской литературы: мол, романы Толстого, Достоевского и Тургенева не только никого ни от чего не спасли, но, наоборот, десятилетиями возвращали в россиянах имперское сознание. Тут могут быть разные точки зрения (мне все-таки кажется странным возлагать на писателей XIX века

ответственность за политические кризисы века XXI), но в любом случае становится любопытно: а что будет, если перейти от формулирования проблемы к ее практическому решению? Не только обвинить русскую литературу во всех бедах этого мира, но и действительно отменить ее? Что из этого выйдет? На мой взгляд, в материальном мире не поменяется почти ничего: исчезновение стихов Пушкина не приведет к остановке трамваев и поломке канализации; еда не поменяет свой вкус, небо не поменяет свой цвет, не рухнут в одночасье дома, не умрет экономика. Но, вне всяких сомнений, изменится речь людей, изменятся способы говорения, изменятся языковые формулы и идиомы. Именно эту коллизию – трансформацию русского языка вследствие гипотетической отмены русской литературы – мне и хотелось исследовать. В «Табии тридцать два» место отмененной литературы занимают шахматы – и люди в своей речи пользуются именно шахматными клише: говорят не «О боже!», но «Каисса!» (имя богини-покровительницы шахмат), не «какая нелепость», но «бонклауд» (название самого нелепого шахматного дебюта, где на втором ходу двигают вперед короля), не «потерял», но «зевнул» и т. д. Поскольку меня в основном интересовали изменения языка (и связанного с языком мышления), а не вопросы сюжетостроения, я намеренно обратился к традиционной романной форме, удобной для сочинителя (приемы письма здесь известны, эффективны и отработаны веками) и привычной для читателя. Таким образом, «Табия тридцать два» – в первую очередь филологический эксперимент, только рядящийся в одежды полудетективного и полуфантастического романа.

– Как оцениваете этот опыт, и можно ли ждать от вас новых текстов в таком же духе?

– Многие жалуются, что и сочинять, и читать традиционные романы очень скучно (мол, утомляют бесконечные «он сказал», «она ответила», «он возразил» и т. д.), но я как автор получил большое удовольствие от процесса. Текст ставил много разных задач, и одной из них была задача стилистическая. Мне хотелось передать (хотя бы отчасти) стилистику традиционной шахматной книги – и для этого пришлось выдумать ряд формальных приемов: так, например, периодически возникающая в «Табии» вертикальная организация текста (короткими строчками, как в стихах) должна визуальнo отсылать к типичной записи шахматных ходов (в столбик), а изобилие скобок (в которых прячутся довольно обширные периоды) – к практике шахматных авторов приводить внутри основного текста партии многочисленные «боковые» варианты. Трехкратное перемещение главного героя по маршруту Петербург – Москва – нарративный коррелят сугубо шахматной геометрии, особого движения фигуры, иногда называемого маятником (чаще всего встречается ферзевый маятник). Ритм романа в целом тоже вдохновлен шахматами, типичным течением игры: долгое, медленное, вдумчивое маневрирование на протяжении двадцати или тридцати ходов, и вдруг – после одной или двух ошибок – стремительная развязка, гибель, мат.

Словом, интересного было много, но в ближайшее время возвращаться к жанру романа я не собираюсь. Вместо этого хочу сосредоточиться на исследованиях, самое важное из которых – проект «Бьефа социализма», посвященный многообразным влияниям гидротехнического строительства (от Волховской ГЭС до Проекта поворота северных рек) на советскую литературу, культуру, общество и вообще жизнь, своего рода «потамочентричная» история СССР, взгляд на наше прошлое с точки зрения воды.

– Как исследователь вы сосредоточены на изучении главным образом брежневской эпохи. Роман «Табия тридцать два» – о шахматах. Можно ли проследить тут связь? Поясню вопрос: у меня шахматы как досуг ассоциируются как раз с эпохой застоя. Когда, например, вижу в парке «Сокольники» двух дедов за доской, сразу возникает ощущение, что оказался в 70-х. Верная ли это ассоциация?

– Любопытная идея; вообще, шахматы сейчас – очень современная (может быть, даже ультрасовременная) область человеческой культуры. Это большие деньги, громкие скандалы, гигантские интернет-платформы (типа Chess.com), модные стримеры (самый известный из них – Хикару Накамура, играющий к тому же на бирже); это проблемы искусственного интеллекта, вопросы развития нейросетей, территория, на которой активно действуют Google и другие IT-корпорации; это дискуссии о читерстве и о цифровом контроле, об алгоритмах, позволяющих отличать компьютер от человека. В некотором роде это cutting edge XXI века. И в то же время, действительно, в нашей стране у шахмат сохраняется выраженный позднесоветский вайб. Для многих шахматы – это что-то из 60-х или в лучшем случае 80-х, это имена Ботвинника и Таля, Карпова и Каспарова. Налицо выраженная двойственность восприятия. Я до сих пор не думал об этом, но, может быть, именно из-за такой двойственности я и стал сочинять роман именно о шахматах – они оказываются своего рода мостом, удачно связывающим позднесоветскую эпоху (которой я занимаюсь как исследователь) и современность (с ее разговорами об отмене русской литературы, которые волнуют меня как литератора).

– «Табия тридцать два», среди прочего, роман параноидальный, конспирологический. А у вас есть любимая конспирологическая теория? И любимый конспирологический роман?

– Я большой поклонник конспирологии, и мне кажется, что сегодня она является своеобразным субститутом поэтического: разговоры о заговорах, пришельцах и тайном мировом правительстве структурно занимают в XXI веке то же самое место, что в веке XVIII занимали разговоры о феях, эльфах и колдунах. Идея в том, чтобы рассматривать конспирологию не в эпистемологической, но в *выразительной функции*: не ищите в утверждениях конспирологов угрозы миру, ищите в них чистую неутилитарную красоту. Когда поэты-романтики сочиняли стихи о демонах, никто же всерьез не опасался, что это остановит научный прогресс; и я не думаю, что пылкие эссе о зловредном влиянии вышек 5G как-то повлияют на развитие современных систем связи. А раз так – давайте оценивать выразительность, необычность, имманентную поэтичность конспирологических текстов. Мне лично кажутся очень красивыми теория плоской земли и идеи Дэвида Айка о рептилоидах, прилетевших со звезды Тубан и искажающих наше восприятие мира (создающих вредоносные сигналы с помощью колец Сатурна, усиливающих их посредством Луны, которая внутри пустая). Художественная книга «Дневник погоды (дисторшны)», о которой вы упоминали выше, является, среди прочего, именно попыткой извлечь из конспирологических теорий их поэтический потенциал, использовать рептилоидов как сугубо стилистический прием, поставить инопланетный заговор на службу русской литературе.

– В «Табии» так или иначе осмысляется реальность после февраля 22-го года. К нынешнему моменту уже вышло немало подобных текстов, прозаических и поэтических. Читали ли вы какие-то из них? Можно ли сказать уже что-то определенное о феномене таких текстов?

– Таких текстов в самом деле уже довольно много, но, к сожалению, за редкими исключениями, почти все они кажутся мне не слишком удачными. Вероятно, дело в масштабе вызова, поставленного новой реальностью перед литераторами; на такой вызов нельзя отвечать поспешно, задача слишком велика. Вспоминается честное недоумение Чехова перед морем – как его описать, что о нем сказать, кроме того, что оно «большое»? В 2024 году речь идет вовсе не о море, а о вещах куда более грандиозных и страшных; должно пройти время, чтобы появились новые способы говорения, новые языки, адекватные изменившемуся миру; пока я таких языков не вижу.

– Слышал две полярные точки зрения на современную прозу: что классические жанры (роман, рассказ) переживают сейчас чуть ли не новый расцвет, и вторая – что традиционные формы, наоборот, умерли, но пока не заметили этого, и что настоящее/будущее литературы в некоей гибридности, междисциплинарности: в текстах в стиле того же Леона Богданова, например. Полагаю, вы ближе ко вторым? Или тут нет однозначного правильного ответа?

– Да, в целом мне ближе гибридные формы, которые активно исследовала неподцензурная позднесоветская литература: бытовой дневник с по-тайной натурфилософской прокладкой у Леона Богданова, андеграундная деконструкция «охотничьей прозы» у Беллы Улановской, сплав пронзительной лирики и высоколобой культурологии у Василия Кондратьева. Если говорить о современниках, то следует назвать «Равинагар» Романа Михайлова и «Тысячу лайков земных» Михаила Куртова; из зарубежных образцов вспоминается «Циклопедия» Резы Негарестани, где философские теории вроде «темного делезианства» становятся плодотворной почвой для литературного, художественного письма. Традиционные жанры кажутся сейчас более монологическими, монотонными, утомительными – но тем интереснее будет, если кто-то сможет перезагрузить и обновить формы романа, повести, рассказа. Это стало бы великим событием в истории литературы.

– Раз уж упомянул Богданова: в последнее время это прежде почти неизвестное имя во многом благодаря вам на слуху. Много ли еще таких спрятанных сокровищ в позднесоветской прозе, ждущих своего часа? Например, вот я недавно открыл для себя Николая Аксельрода, замечательный автор, но узнал о нем, только погрузившись в историю ленинградского литературного подполья.

– Убежден, что неподцензурная позднесоветская литература принесет нам еще много открытий. И дело не только в обнаружении совершенно новых имен – до сих пор не опубликованы в должном объеме даже тексты хорошо известных авторов. Собрание сочинений Виктора Кривулина, например, лишь сейчас выходит в Издательстве Ивана Лимбаха. Только в прошлом году вышло в «Новом литературном обозрении» собрание сочинений Генриха Сапгира. Того же Леона Богданова надо комментировать и разъяснять – тогда у этой «странной прозы» сразу прибавится читателей. Из новообнаруженных произведений я бы хотел упомянуть «Роман» Марка Петрова (ленинградского художника и дизайнера), написанный в 70-е и в 2021 году (целую эпоху спустя) опубликованный Издательством Яромира Хладика, – замечательный текст, перемежающий тихую лирику и почти раблезианскую сатиру: одинокий сторож в гавани на окраине Ленинграда созерцает черное январское небо, замерзшую пустыню Финского залива, покрытые снегом лодки и катера, пьет дешевый алкоголь – а со всех сторон громоздится абсурдная и мрачная реальность «развитого социализма».

– Как сотрудник журнала «Юность» не могу не спросить о вашем отношении к советским «мейнстримным» писателям – Трифонову, Казакову (этих авторов вы упоминаете во «Второй вненаходимой» как практически обитателей другой галактики, у которых нет ничего общего с неподцензурными авторами) и другим. Интересен ли вам кто-то из них?

– Чем дальше я занимаюсь исследованиями позднесоветской культуры, тем больше подозреваю, что именно в «городских повестях» Юрия Трифонова может быть обнаружен ключ к пониманию той эпохи; это действительно великий писатель, которого, к сожалению, сейчас почти не читают. Другим важнейшим автором я считаю Елену Вентцель, известную как И. Грекова. (Она, среди прочего, написала самый популярный в СССР учебник по теории вероятностей, и, вообще говоря, было бы интересно исследовать, существуют ли какие-то пересечения между той областью математики, которой занималась Вентцель, и той литературой, которую сочиняла И. Грекова. Вдруг окажется, что используемая И. Грековой лексика подчиняется особому типу распределения – экспоненциальному, например? Или что дисперсия сюжета строго нормирована, а аргументация героев строится на теореме Байеса? Чернышевский писал «Что делать?», опираясь на теорию разумного эгоизма, Сологуб писал «Мелкого беса», опираясь на теорию гностицизма; могла ли И. Грекова писать, опираясь на теорию вероятности?) Я очень нежно отношусь к условным «прирооведам», Пришвину, Паустовскому и Бианки; на мой взгляд, это прекрасная абстрактная проза – вроде той, что сочинял герой московского андеграунда Павел Улитин, – только реализуемая на принципиально другом материале (собственно, материале природы, а не культуры).

Среди других официальных книг, мною любимых, – «Северный дневник» Юрия Казакова и «Самая легкая лодка в мире» Юрия Коваля.

– Почти в каждом вашем тексте, и нонфикшен, и фикшен, возникают отсылки к произведениям Стругацких. Почему они для вас так важны? Любовь/интерес к ним возник у вас в детстве? И сюда же вопрос: какой текст (один), прочитанный вами в детстве, оказал на вас решающее влияние?

– Наверное, как человек, получивший высшее техническое образование, работающий в научно-исследовательском институте и, кроме того, верящий в идею коммунизма, я был просто обречен на чтение Стругацких (начиналось оно с их ранних вещей, вроде «Полдень, XXII век»). Вообще, советская оптимистическая фантастика оказала на меня большое влияние, но если выбирать какую-то одну прочитанную в детстве книгу, то это окажется томик рассказов Кира Булычева, посвященных Великому Гусляру. Маленький северный город, где проводят странные эксперименты, изобретают машины времени и общаются с инопланетянами не в рамках исполнения каких-либо масштабных государственных проектов (с определенными сроками, заданным финансированием и проч.), но в силу природных склонностей и естественного хода вещей – по сути, это такой «наркоград здорового человека», улучшенная версия Дубны, Обнинска или Пущино. Я до сих пор думаю, что это самая завидная доля: жить в таком городе и заниматься наукой. Стругацкие, конечно, гораздо глубже Булычева – а с определенного момента и гораздо мрачней; из их текстов я более всего ценю «За миллиард лет до конца света» – очень емкую метафору андроповской «профилактики» и позднесоветского застоя в целом, замечательно ухватывающую дух времени.

– Для работы над книгой о советском Невероятном вы, я полагаю, изучили огромный массив эзотерических треш-статей. А есть ли у вас в вашем круге чтения guilty pleasure: читаете ли вы, например, журнал «Оракул» или «Тайны XX века»? Или комиксы, «ироничные детективы»?

– Наверное, в категорию *guilty pleasure* должно попадать регулярное чтение Александра Дюма, которого я очень люблю – но не как автора «Трех мушкетеров» или «Графа Монте-Кристо», а как создателя «Большого кулинарного словаря». Я вообще поклонник кулинарных книг – зачастую это прекрасная и остро-оригинальная литература, сообщающая множество фактов о человеческой жизни, несущая яркий отпечаток времени, написанная хорошим языком и почти всегда внушающая чувство некоторой надежности жизни. Мне и самому хочется написать когда-нибудь кулинарную книгу – посвященную супам. В связи с глобальным потеплением в ближайшие 100 лет главным дефицитом на Земле станет питьевая вода; соответственно, жарить и варить еду окажется слишком расточительным (так, при жарке вы теряете пятьдесят и более процентов влаги, содержащейся в продукте). Варка более экономна, но лучше всего если вода, в которой готовился продукт, не пропадает, а употребляется в пищу. Именно поэтому неизбежным кулинарным будущим человечества в эпоху позднего антропоцена окажутся супы; и уже сейчас нам нужно заняться *общей теорией супов* – для понимания того, как супы устроены, в чем тайна их многообразия, как их правильно готовить и т. д.

– *Вопрос о «чувстве чудесного». Склонны ли вы сами к улавливанию в пространстве чудесного, странного, иррационального? Усилило или ослабило ли это чувство работа над «Убывающим миром»?*

– Такая склонность действительно есть, и развилась она главным образом благодаря изучению позднесоветской культуры. Мне кажется, именно чувство (даже, наверное, «предчувствие») «чудесного», постоянное ощущение того, что атмосфера чревата чем-то новым и неожиданным, что в любую секунду из воздуха может сгуститься полтергейст или летающая тарелка, было своего рода «эмоциональным диспозитивом» людей, живших в брежневском СССР, – диспозитивом, одинаково разделявшимся и «массами», и «элитами». Лучше всего эта подспудная иррациональность позднесоветского мира улавливается кинематографом: «Сталкер» Тарковского, «Парад планет» Абдрашитова и т. д. Но в принципе почти вся культурная продукция застойной эпохи (романы, стихотворения, песни, мультфильмы, симфонии и проч.) так или иначе переизлучает странность, широко разлитую в позднесоветском пространстве и времени. Пожалуй, всю советскую историю можно разделить на три периода: «страстный социализм» (1917–1937), «страшный социализм» (1937–1953) и «странный социализм» (1953–1991). Одну из множества личин этой «странности» я исследовал в книге «Убывающий мир», посвященной феномену «советского невероятного» (популярным разговорам о телепатии, Бермудском треугольнике, инопланетянах и проч.), но там общая установка была скорее на «расколдовывание мира»: задача заключалась в том, чтобы показать, как партикулярные увлечения советских граждан поисками Тунгусского метеорита или поеданием мумие соотносились с социальными и мировоззренческими трендами 1960–80-х («чудесное» как симптом «общественного»). «Заколдовыванию» действительности посвящена другая книга, «Дневник погоды»; правда, это действительность уже не позднесоветская, а современная нам – Петербурга начала 2020-х, с унылыми спальными районами, магазинами экономкласса, окраинными станциями метрополитена и газпромовским небоскребом на берегу Финского залива. Мир этот довольно серый и депрессивный – однако именно насыщение такого мира колдовством, рассуждениями о влиянии звезд и о кознях рептилоидов позволяет сделать жизнь в нем чуть более выносимой, а быт – чуть более уютным. И это тоже – одна из задач литературы во все времена.